



Н. М. КАРАМЗИН

Нечто о науках, искусствах и просвещении

Que les Muses, les arts et la philosophie,
Passent d'un peuple à l'autre et consolent la vie!

St. Lambert¹

Был человек — и человек великой, незабвенной в летописях Философии, в Истории людей, — был человек, который со всем блеском красноречия доказывал, что просвещение для нас вредно и что Науки несовместны с добродетелью!

Я чту великие твои дарования, красноречивой Руссо! Уважаю истины, открытые тобою современникам и потомству, — истины, отныне незагладимые на деках нашего познания, — люблю тебя за доброе твое сердце, за любовь твою к человечеству*; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы парадоксами.

Вообще рассуждение его о Науках** есть, так сказать, логический Хаос, в котором виден только обманчивый порядок или призрак порядка; в котором сияет только *ложное солнце* — как в Хаосе творения, по описанию одного Поэта — и день с ночью непосредственно, то есть без утра и вечера, соединяются. Оно есть собрание противоречий и софизмов, предложенных — в чем надобно отдать справедливость Автору — с довольноным искусством.

* Я говорю о тех моральных истинах, которые Руссо открывает нам в своем «Эмиле».

** Discours sur la question, proposée par l'Académie de Lyon, si le rétablissement des Sciences et des Arts a contribué à épurer les mœurs? ²

«Но Жан-Жака нет уже на свете: на что беспокоить прах его?» — Творца нет на свете, но творение существует; невежды читают оное — самые те, которые ничего более не читают, — и под Эгидою славного Женевского Гражданина злословят просвещение. Если бы небесный Юпитер отдал им на время гром свой, то великолепное здание Наук в одну минуту превратилось бы в пепел.

Я осмеливаюсь предложить некоторые примечания, некоторые мысли свои о сем важном предмете. Они не суть плод глубокого размышления, но первые, так сказать, идеи, возбужденные чтением Руссова творения*.

Со времен Аристотелевых твердят Ученые, что надобно определять вещи, когда желаешь говорить об них и говорить основательно. Дефиниции служат Фаросом в путях умствования — Фаросом³, который беспрестанно должен сиять пред глазами нашими, если мы не хотим с прямой черты совратиться. Руссо пишет о Науках, об Искусствах, не сказав, что суть Науки, что Искусства. Правда, если бы он определил их справедливо, то все главные идеи трактата его — поднялись бы на воздух и рассеялись в дым, как пустые фантомы и чада Химеры; то есть трактат его остался бы в туманной области небытия — а Жан-Жаку непременно хотелось бранить ученье и просвещение. Для чего же? Может быть, для странности; для того, чтобы удивить людей и показать свое отменное остроумие: суетность, которая бывает слабостию и самых великих умов!

Несмотря на разные классы Наук, несмотря на разные имена их, они суть не что иное, как *познание Натуры и человека, или система сведений и умствований, относящихся к сим двум предметам***.

* Новая пьеса одного неизвестного Немецкого Автора, которая нечаянно попалась мне в руки и в которой бедные Науки страдают ужасным образом, заставила меня прочесть со вниманием *iscours de J.-J.* Примечания мои неважны; но они по крайней мере не выписаны ни из Готье, ни из Лаборда, ни из Мену⁴, которых я или совсем не читал, или совсем забыл. — Что же принадлежит до Господина Немецкого Анонимуса, то он, кроме злобы, тупоумия и несносного Готшедского слога, ничем похвалиться не может; на такие сочинения нет ответа.

** Познание сих двух предметов ведет нас к чувствованию всевечного творческого Разума.

От чего произошли они? — От любопытства, которое есть одно из сильнейших побуждений души человеческой: любопытства, соединенного с разумом.

Доброй Руссо! Ты, который всегда хвалишь мудрость Природы, называешь себя другом ее и сыном и хочешь обратить людей к ее простым, спасительным законам! Скажи, не сама ли Природа вложила в нас сию живую склонность ко знаниям? Не она ли приводит ее в движение своими великолепными чудесами, столь изобильно вокруг нас рассеянными? Не она ли призывает нас к Наукам? — Может ли человек быть бесчувствен тогда, когда громы Натуры гремят над его головою; когда страшные огни ее пылают на горизонте и рассекают небо; когда моря ее шумят и ревут в необозримых своих равнинах; когда она цветет перед ним в зеленоей одежде своей или сияет в злате блестящих плодов, или, как будто бы утружденнная великолепием своих феноменов, облекается в черную ризу осени и погружается в зимний сон под белым кровом снегов своих?

Обратимся во тьму прошедшего; углубимся в бездну минувших веков и вступим в оные давно истлевшие леса, в которых человечество, по словам твоим, о Руссо, блаженствовало в физическом и моральном мерцании; устремим взор наш на юного сына Природы, там живущего: мы увидим, что и он не только о физических потребностях думает; что и он имеет душу, которая требует себе не телесной пищи. Сей дикой взирает с удивлением на картину Натуры; око его обращается от предмета к предмету — от заходящего солнца на восходящую луну, от грозной скалы, опеняемой валами, на прекрасной ландшафт, где ручейки журчат в серебряных нитях, где свежие цветы пестреют и благоухают. Он в тихом восхищении пленяется естественными красотами, иногда нежными и милыми, иногда страшными: впивает их, так сказать, в свое сердце всеми чувствами и наслаждается без насыщения. Все для него привлекательно; все хочет он видеть и осязать в нервах своих; спешит к отдаленнейшему, ищет конца горизонту и не находит его — небо во все стороны над ним разливается — Природа вокруг его необозрима, и сим величественным образом беспредельности вещает ему: «*нет пределов твоему любопытству и наслаждению!*» — Таким образом собирает он бесчисленные идеи или чувственные понятия, которые суть не что иное, как непосредственное отражение предметов, и которые носятся сначала в душе его без всякого порядка; но скоро пробуждается в ней оная удивительная сила, или способность, которую называем мы *разумом* и ко-

торая ждала только чувственных впечатлений, чтобы начать свои действия. Подобно лучезарному солнцу освещает она Хаос идей, разделяет и совокупляет их, находит между ими различия и сходства, отношения, частное и общее, и производит идеи особливого рода, идеи отвлеченные, которые собственно составляют *знание**^{*,} составляют уже *Науку* — сперва Науку Природы, внешности, предметов; а потом, через разные отвлечения, достигает человек и до понятия о самом себе, обращается от чувствований к чувствующему и, не будучи Декартом, говорит: *cogito, ergo sum* — мышлю, следственно, существую**; что ж я?.. Вся наша Антропология есть не что иное, как ответ на сей вопрос.

И таким образом можно сказать, что Науки были прежде Университетов, Академий, Профессоров, Магистров, Бакалавров. Где Натура, где человек, там учительница, там ученик — там Наука.

Хотя первые понятия диких людей были весьма недостаточны, но они служили основанием тех великолепных знаний, которыми украшается век наш; они были первым шагом к великим открытиям Невтонов и Лейбница — оный источник, едва-едва журчащий под сению ветвистого дуба, мало-помалу расширяется, шумит и наконец образует величественную Волгу.

Кто же, описывая дикого или естественного человека, представляет его невнимательным, нелюбопытным, живущим всегда в одной сфере чувственных впечатлений, без всяких отвлеченных идей — думающим только об утолении голода и жажды и проводящим большую часть времени во сне и бесчувствии — одним словом, зверем: тот сочиняет роман и описывает человека, который совсем не есть человек. Ни в Африке, ни в Америке не найдем мы таких бессмысленных людей. Нет! и Готтентоты любопытны; и Кафры стараются умножать свои понятия; и Караибы имеют отвлеченные идеи, ибо у них есть уже язык, следствие многих умствований и соображений***. — Или пусть младенец будет нам примером человечества, младенец, которого душа чиста еще от всех наростов, несвойствен-

* Знать вещь есть не чувствовать только, но отличать ее от других вещей, представлять ее в связи с другими.

** Известной Декартов силлогизм.

*** Наприм[ер], всякое прилагательное имя есть отвлечение. Времена глаголов, местоимения — все сие требует утонченных действий разума.

ных ее натуре! Не примечаем ли в нем желания знать все, что представляется глазам его? Всякой шум, всякой необыкновенный предмет не возбуждает ли его внимания? — В сих первых движениях души видит Философ определение человека; видит, что мы сотворены для знаний, для *Науки*.

Что суть Искусства? — *Подражание Натуре*. Густые, сросшиеся ветви были образцом первой хижины и основанием Архитектуры; ветер, веявший в отверстие сломленной трости или на струны лука, и поющие птички научили нас музыке, тень предметов — рисованью и живописи. Горлица, сетующая на ветви об умершем дружке своем, была наставницею первого Элегического Поэта^{*}; подобно ей хотел он выражать горесть свою, лишась милой подруги, — и все песни младенческих народов начинаются сравнением с предметами или действиями Натуры.

Но что ж заставило нас подражать Натуре, то есть что произвело Искусства? *Природное* человеку стремление к улучшению бытия своего, к умножению жизненных приятностей. От первого шалаша до Луврской колоннады, от первых звуков простой свирели до симфоний Гайдена, от первого начертания дерев до картин Рафаэлевых, от первой песни дикого до Поэмы Клопштоковой⁵ человек следовал сему стремлению. Он хочет жить *покойно*: рождаются так называемые *полезные искусства*; возносятся здания, которые защищают его от свирепости стихий. Он хочет жить *приятно*: являются так называемые *изящные искусства*, которые усыпают цветами жизненный путь его.

* Я думаю, что первое птическое творение было не что иное, как излияние томно-горестного сердца; то есть что первая Поэзия была Элегическая. Человек веселящийся бывает столько занят предметом своего веселья, своей радости, что не может заняться описанием своих чувств; он наслаждается и ни о чем более не думает. Напротив того, горестный друг, горестный любовник, потеряв милую половину души своей, любит думать и говорить о своей печали, изливать, описывать свои чувства; избирает всю Природу в поверенные грусти своей; ему кажется, что журчащая речка и шумящее дерево соболезнуют о его утрате; состояние души его есть уже, так сказать, Поэзия; он хочет облегчить свое сердце и облегчает его — слезами и песнию. — Все веселые стихотворения произошли в позднейшие времена, когда человек стал описывать не только свои, но и других людей чувства; не только настоящее, но и прошедшее; не только действительное, но и возможное или вероятное.

И так Искусства и Науки *необходимы*: ибо они суть плод природных склонностей и дарований человека и соединены с существом его, подобно как действие соединяется с причиною, то есть союзом неразрывным. Успехи их показывают, что духовная натура наша в течение времен, подобно как злато в горниле, очищается и достигает большего совершенства; показывают великое наше преимущество пред всеми иными животными, которые от начала мира живут в одном круге чувств и мыслей, между тем как люди беспрестанно его распространяют, обогащают, обновляют.

Я помню — и всегда буду помнить — что добрейший и любезнейший из наших Философов, великий Боннет⁶ сказал мне однажды на берегу Женевского озера, когда мы, взирая на заходящее солнце, на златые статуи Лемана, говорили об успехах человеческого разума: «Мой друг!... сим именем называет Боннет* всех тех, которые приходят к нему с любовью к истине... «Мой друг! Размышляющий человек может и должен надеяться, что в последствии веков объясняется весь мрак в путях Философии, и заря наших смелейших предчувствий будет некогда солнцем уверения. Знания разливаются как волны морские; необозримо их пространство; никакое острое зрение не может видеть отдаленного берега — но когда явится он утружденному взору мудрецов; когда мы узнаем все, что в странах подлунных знать можно; тогда — может быть — исчезнет мир сей подобно волшебному замку, и человечество вступит в другую сферу жизни и блаженства». — Небесный свет сиял в сию минуту на лице Женевского Философа, и мне казалось, что я слышу глас пророка.

Так, Искусства и Науки неразлучны с существом нашим — если бы какой-нибудь дух тьмы мог теперь в одну минуту истребить все плоды ума человеческого, жатву всех прошедших веков: то потомки наши снова найдут потерянное и снова воссияют Искусства и Науки как лучезарное солнце на земном шаре. Драгоценное собрание знаний, по воле гнусного варвара, было жертвою пламени в Александрии; но мы знаем теперь то, чего ни Греки, ни Римляне не знали. Пусть новый Омар, новый Амру, факелом Тизифоны превратит в пепел все наши книгохранилища!⁷ В течение грядущих времен рождаются новые Баконы, которые положат новое, и может быть, еще твердейшее основание храма Наук; рождаются новые Невтоны, которые

* Он был еще жив, когда я писал сии примечания.

откроют законы всемирного движения; новый Локк изъяснит человеку разум человека; новые Кондильяки, новые Боннеты силою ума своего оживят статую^{*8}, и новые Поэты воспοют красоту Натуры, человека и славу Божию: ибо все то, чему мы удивляемся в книгах, в музыке, на картинах, все то излилось из души нашей и есть луч божественного света ее, произведение великих ее способностей, которых никакой Омар, никакой Амру не может уничтожить. Перемените душу, вы, ненавистники просвещения! Или никогда, никогда не успеете в человеческолюбивых своих предприятиях; и никогда Прометеев огонь на земле не угаснет!

Заключим: есть ли Искусства и Науки в самом деле зло, то они *необходимое* зло, — зло, истекающее из самой натуры нашей; зло, для которого Природа сотворила нас. Но сия мысль не возмущает ли сердца? Согласна ли она с благостию Природы, с благостию Творца нашего? Мог ли Всевышний произвести человека с любопытною и разумною душою, когда плоды сего любопытства и сего разума должны были быть пагубны для его спокойствия и добродетели? Руссо! я не верю твоей системе.

«Науки портят нравы, — говорит он, — наш просвещенный век служит тому доказательством».

Правда, что осьмой-надесять век просвещенное всех своих предшественников; правда и то, что многие пишут на него сатиры; многие, кстати и не кстати, восклицают: о *tempora! o mores! o времена! o нравы!* Многие жалуются на разврат, на гибельные пороки наших времен — но много ли Философов? Много ли размышляющих людей? Много ли таких, которые проницают взором своим во глубину нравственности и могут справедливо судить о ее феноменах? Когда нравы были лучше нынешних? Ужели в течение так называемых средних веков, тогда, когда грабеж, разбой и убийство почитались самым обыкновенным явлением? Пусть читают так называемые *монастырские летописи* и сличат их с историей наших времен! — Нам будут говорить о Сатурновом веке, счастливой Аркадии...⁹ Правда, сия вечноцветущая страна, под благим, светлым небом, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любят друг друга, как нежные братья, не знают ни зависимости, ни злобы, живут в благословенном согласии, повинуются

* См.: «Essai analytique sur l'Ame», par Bonnet, et «Traité des Sensations», par Condillac.

одним движениям своего сердца и блаженствуют в объятиях любви и дружбы, есть нечто восхитительное для воображения чувствительных людей; но — будем искренны и признаемся, что сия счастливая страна есть не что иное, как приятной сон, как восхитительная мечта сего самого воображения. По крайней мере никто еще не доказал нам исторически, чтобы она когда-нибудь существовала. Аркадия Греции не есть та прекрасная Аркадия, которою древние и новые Поэты прельщают наше сердце и душу.

J'ouvre les fastes: sur cet âge
Partout je trouve des regrets;
Tous ceux qui m'en offrent l'image,
Se plaignent d'être nés après¹⁰

Самые отдаленнейшие времена, освещаемые факелом Истории, — времена, в которые Искусства и Науки были еще, так сказать, в бессловесном младенчестве, — не представляют ли нам пороков и злодеяний? Сам ты, о Руссо, животворною своею кистию изобразил одно из сих страшных происшествий древности, которые возмущают всякое чувство* и показывают, что сердце человеческое осквернялось тогда самым гнуснейшим развратом.

Ты обвиняешь век наш утонченным лицемерием, притворством; но отчего же порок старается ныне скрывать себя под маскою добродетели более, нежели когда-нибудь? Не оттого ли, что в нынешние времена гнушаются им более, нежели прежде? Самое сие относится к чести наших нравов; и если мы обязаны тем просвещению, то оно благотворно и спасительно для морали. Иначе можно будет доказать, что и добродетель развращает людей, заставляя порочного лицемерить: ибо никогда не имеет он такой нужды притворяться добрым, как в присутствии добрых. Вообразим двух человек, которые оба злонравны, но с тем различием, что один явно предается своим склонностям и, следственно, не стыдится их — а другой таит оные и, следственно, сам чувствует, что они не похвальны: кто из них ближе к исправлению? Конечно, последний: ибо первый шаг к добродетели, как говорят древние и новые Моралисты, есть познание гнусности порока.

Мысль, что во времена невежества не могло быть столько обманов, как ныне, для того что люди не знали никаких

* В Levite d'Ephraïm¹¹.

тонких хитростей, есть совершенно ложная. Простые так же друг друга обманывают, как и хитрые: первые грубым образом, а вторые искусством — ибо мы не можем быть ни равно просты, ни равно хитры. Вспомним жрецов идолопоклонства: они были, конечно, не Ученые, не мудрецы, но умели ослеплять людей — и кровь человеческая лилась на жертвенныхниках.

Сия учтивость, сия приветливость, сия ласковость, которая свойственна нашему времени преимущественно перед всеми прочими и которую новые Тимоны* называют сусальным золотом осьмого-надесять века, в глазах Философа есть истинная добродетель общежития и следствие утонченного человеколюбия. Не спорю, что отереть слезы бедного, отвратить грозную бурю от своего брата гораздо похвальнее и важнее, нежели приласкать человека добрым словом или улыбкою; но все то, чем мы можем доставить друг другу невинное удовольствие, есть должность наша — и кто хотя одну минуту жизни сделал для меня приятною, тот есть мой благодетель. Мудрая, любезная Натура не только дает нам пищу; она производит еще и алую розу и белую лилию, которые не нужны для нашего физического существования — но они приятны для обоняния, для глаз наших, и Натура производит их. Учтивость, приветливость есть цвет общежития.

«Сpartанцы не знали ни Наук, ни Искусств, — говорит наш Мизософ, — и были добродетельнее прочих Греков, — и были непобедимы. Когда невежество царствовало в Риме, тогда Римляне повелевали миром; но Рим просветился, и северные варвары наложили на него цепи рабства»**.

Во-первых — Спартанцы не были такими невеждами и грубыми людьми, какими хочет их описывать Женевский Гражданин. Они не занимались ни Астрономиею, ни Метафизикою, ни Геометриею: но у них были другие Науки и самые Изящные Искусства. Они имели свою Мораль, свою Логику, свою Реторику, хотя учились им не в Академиях, а на лобном месте — не от Профессоров, а от своих Эфоров. Не священная ли Поэзия приготовила сих Республиканцев к Ликурговым

* Известно, что Афинской Тимон был великим мизантропом. «Я люблю тебя, — сказал он Альцибиаду, — за то, что ты сделаешь довольно зла своему отечеству»¹².

** Все, что Руссо говорит в своем *iscours o Спарте и Риме*, взято из *Essais de Montaigne*, главы XXIV, du Pedantisme. Жан-Жак любил Монтаня.

уставам? Песнопевец Фалес* был предтечою сего законодателя; явился в Спарте с златострунною лирою, воспел счастье мудрых законов, благо согласия и восхитил сердца слушателей. Тогда пришел Ликург, и Спартанцы приняли его как друга богов и человеков, которого устами вещала Истина и Мудрость. Во время второй Мессенской войны повелевал Лакедемонцами Афинской Поэт Тиртей; он пел, играл на арфе, и воины его, как яростные вихри, стремились на брань и смерть: доказательство, что сердца их отверзались *впечатлениям изящного*, чувствовали в истине красоту и в красоте истину!¹³ У них были и собственные свои Поэты, наприм[ер], Алкман¹⁴, которой «всю жизнь свою посвящал любви, и во всю жизнь свою воспевал любовь», были музыканты и живописцы — первые гармонией струн своих возбуждали в них энтузиазм геройства; кисть вторых изображала *красоту и силу*, в виде Аполлона и Марса, чтобы Спартанки, обращая на них взоры свои, раждали Аполлонов и Марсов, — были и Риторы, которые в собраниях народа или на печальных празднествах, учрежденных в память Павзанию и Леониду, убеждали и трогали сограждан своих, — наприм[ер], Самые Афинцы удивлялись красноречию Спартанца Бразида и сравнивали его с лучшими из Греческих Ораторов. Законы Лакедемонские не запрешили наслаждаться Изящными Искусствами, но не терпели их злоупотребления. Для сего-то Эфоры не позволяли гражданам своим читать соблазнительных творений Сатирика Архилоха; для сего-то велели они молчать лире одного музыканта, который нежною, томною игрою вливал яд сладострастия в души воинов; для сего-то выгнали они из Спарты того Ритора, который хотел говорить о всех предметах с равным искусством и жаром. Истинное красноречие, одушевленное правдою, на правде основанное, было им любезно — ложное, софистическое — ненавистно. Теория морали их поставлялась в пример ясной краткости, силы и убедительности, так что многие Философы древности, наприм[ер], Фалес, Питтак и другие, заимствовали от них методы своего нравственного учения¹⁵.

Во-вторых — точно ли Спартанцы были добродетельнее прочих Греков? Не думаю. Там, где в забаву убивали бедных невольников, как диких зверей; где тирански умерщвляли слабых младенцев, для того что Республика не могла надеяться на силу руки их, — там, следуя общему человеческому

* Сей Поэт Фалес жил прежде мудреца Фалеса или Талеса.

понятию, нельзя искать нравственного совершенства. Если древние говорили, «что самый Спартанский воздух вселяет, кажется, *Ѳρετίν*», то под сим словом разумели они не то, что мы разумеем ныне под именем *добродетели, vertu, Tugend*, а *мужество или храбрость**¹⁶, которая только по своему употреблению бывает добродетелию. Спартанцы были всегда храбры, но не всегда добродетельны. Леонид и друзья его, которые принесли себя в жертву отечеству, суть мои Герои, истинно великие мужи, полубоги; без слез не могу я думать о славной смерти их при Термоилах — но когда питомцы Ликурговых законов лили кровь человеческую для того, чтобы умножить число своих невольников и поработить слабейшие Греческие области: тогда храбрость их была злодейством — и я радуюсь, что великой Эпаминонд смирил гордость сих Республиканцев и с надменного чела их сорвал лавр победы¹⁶.

Афины — просвещенные Афины, где, так сказать, возрастили все наши Искусства и Науки, — Афины производили также своих Героев, которые в великолдушии и храбрости не уступали Лакедемонским. Фемистокл, Аристид, Фокион!¹⁷ Кто не удивляется вашему величию? Вы сияете в Истории человечества как благодетельные светила — и вечно сиять будете! — Сам божественный Сократ, первый из мудрецов древности, был храбрый воин; от высочайших умозрений Философии летел он на поле брани умирать за любезные Афины — и я не знаю, кто более имеет причин любить и защищать свое отчество, сын Софронисков или какой-нибудь Абдерит: первый наслаждается в нем всеми благами жизни, цветами Природы, Искусства, самим собою, своим человечеством, силами и способностями души своей; а второй в благословенной Абдере — живет, и более ничего. Для кого страшнее узы варваров? Сократ, сражаясь за Афины, сражается за место своего счаствия, своих удовольствий, которые вкушал он в садах Философских, в беседе друзей и мудрецов, — Абдерит и под игом Персидским может быть Абдеритом**¹⁸.

* *Ѳρεтін* происходит от *Ѳρης*. Сим именем, как известно, называется по-Гречески Марс.

** Говорят еще, что упражнение в Науках или в Искусствах расслабляет телесные силы, нужные воину; но разве Ученый или художник непременно должен морить себя в кабинете? Соблюдая умеренность в трудах своих, он может служить отечеству рукою и грудью не хуже других граждан. Впрочем, не Атлетовы силы, но любовь к отечеству делает воинов непобедимыми.

Что принадлежит до Рима, то Науки не могли быть причиною его падения, когда Сципионы посвящали им все свободные часы свои и были — Сципионами; когда Катон, умирая вместе с Республикой, в последнюю ночь жизни своей читал Платона¹⁹; когда Цицерон, ученейший Римлянин своего времени, презирал опасность и гремел против Катилины. Сии Герои были питомцы Наук, и притом Герои; более таких мужей, и Рим бессмертен в своем величии!

Я согласен, что чрезмерная роскошь, которая царствовала наконец в Риме, была пагубна для Республики: но какую связь имеет роскошь с Науками? Сия политическая и нравственная язва перешла в Рим из стран Азиатских, вместе с великим богатством, которое бывает ее источником и пищею. Чем же обогатились потомки Ромуловы? Конечно, не Науками, но завоеваниями — и таким образом причина славы их сделалась наконец причиною их погибели.

Успех самых *приятных искусств* нимало не зависит от богатства. Поэт, живописец, музыкант имеют ли нужду в Моголовых сокровищах для того, чтобы сочинить бессмертную Поэму, написать изящную картину, очаровать слух наш сладкими звуками? Потребны ли сокровища и для того, чтобы наслаждаться великими произведениями Искусств? Для первого нужны таланты, для второго потребен вкус: и то и другое есть особливый дар Неба, который не в мрачных недрах земли хранится и не с золотым песком приобретается*.

И кто имеет более алчности к богатству, просвещенный человек или невежда? Человек с дарованиями или глупец? Философ ценит умозрения свои дороже золота. Архимед не взял бы миллионов за ту минуту, в которую воскликнул он: «Эврика! нашел! нашел!» Камоэнс не думал о своем имении, когда тонул корабль его; но, бросившись в море, держал он в правой руке «Лузиаду»²⁰. Сии отменные люди находят в самих

* Но чем же в бедной земле будет награжден писатель или художник? Похвалою, одобрением, удовольствием своих сограждан: вот то, что истинному АРтисту всего милее, всего дороже! — Музы не умеют считать денег и бегут от железных сундуков, на которых гремят замки и запоры. Там, где любят их чистым сердцем; где умеют чувствовать красоту их, — там они всем довольны, довольны бедною хижиною и ключевою водою. В другое место не заманишь их и славным бриллиантом Португальской Королевы.

себе источник живейших удовольствий — и по тому самому богатство не может быть их идолом.

Но сколько заблуждений в Науках! Правда, для того, что они несовершены; но предмет их есть *истина*. Заблуждения в Науках суть, так сказать, чуждые нарости, и рано или поздно исчезнут. Они подобны тем волнистым облакам, которые в час утра показываются на восток и бывают предтечами златого солнца. Из темной сени невежества должно идти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения; но мы приедем к прелестной богине, приедем, несмотря на все препоны, и в ее эфирных объятиях вкусим небесное блаженство. Высочайшая Премудрость не хотела нас удалить от нее сими различными затруднениями, ибо мы можем преодолеть их и, сражаясь с оними, чувствуем некоторую радость в глубине сердец своих: верный знак того, что действуем согласно с нашим определением!* Кажется, будто Натура, скрывая иногда истину — по словам Философа Демокрита — на дне глубокого кладезя, хочет единственно того, чтобы мы долее наслаждались приятным исканием и тем живее чувствовали красоту ее. Так нежная Дафна бежит и скрывается от страстного Палемона, единственno для того, чтобы еще более воспалить жаркую любовь его!²¹

Науки с Искусствами вредны и потому, — продолжает их славный Антагонист, — что мы тратим на них драгоценное время; но как же, уничтожив все Науки и все Искусства, будем употреблять его? На земледелие, на скотоводство? Правда, что земледелие и скотоводство всего нужнее для нашего существования; но можем ли занять ими все часы свои? Что станем мы делать в те мрачные дни, когда вся Природа сетует и облекается в траур? Когда северные ветры

* Во всяком случае, где мы удаляемся от мудрого плана Натуры, от ее цели, обыкновенно чувствуем в душе своей некоторую тоску, неудовольствие, неприятность. Сие противное чувство говорит нам: «Ты оставил путь, предписанный тебе Натурою: обратись на него!» Кто не повинуется сему гласу, тот вечно будет несчастлив. — Напротив того, всегда, когда действуем сообразно с нашим определением или с волею великого творца, чувствуем некоторое тихое удовольствие, радость. Сие чувство говорит нам: «ты идешь путем, предписанным тебе Натурою: не совращайся с оного!»

обнажают рощи, пушистые снега усыпают железную землю и дыхание хлада замыкает двери жилищ наших; когда землемелец и пастух со вздохом оставляют поля и заключаются в своих хижинах? Тогда не будет уже книг, благословенныхых книг, сих верных, милых друзей, которые доселе услаждали для нас печальную осень и скучную зиму, то обогащая душу великими истинами Философии, то извлекая слезы чувствительности из глаз наших трогательными повествованиями. Священная небесная Меланхолия, мать всех бессмертных произведений ума человеческого! Ты будешь чужда хладному нашему сердцу; оно забудет тогда все благороднейшие свои движения, и сие пламя всемирной любви, которое развивают в нем творения истинных мудрецов и друзей человечества, подобно угасающей лампаде блеснет — и померкнет!.. Руссо! Руссо! Память твоя теперь любезна человекам; ты умер, но дух твой живет в Эмиле, но сердце твое живет в Элоизе — и ты восставал против Наук, против Словесности! и ты проповедывал счастье невежества, славил бессмыслие, блаженство зверской жизни! Ибо что иное, как не зверь, есть тот человек, который живет только для удовлетворения своим физическим потребностям? Ужели скажут нам, что он, удовлетворяя сим потребностям, спокоен и счастлив? Ах, нет! на златом диване и в темной хижине он беден и злополучен; на златом диване и в темной хижине чувствует он вечный недостаток, вечную скуку. Один, чтобы наполнить сию мучительную пустоту сердца, выдумывает тысячу мнимых нужд, тысячу мнимых потребностей жизни* другой, угнетаемый бременем мысленной силы своей, ищет облегчения в совершенном забвении самого себя или прибегает к ужасному распутству. — Так конечно! Человек носит в груди своей пламень Этны: живое побуждение деятельности, которое мучит праздного, — Искусства же и Науки суть благотворный источник, утоляющий сию душевную жажду.

«*Но разве добродетель не может занять души твоей?* — возражает Руссо. — *Учись быть нежным сыном, супругом, отцом! полезным гражданином, человеком, и ты не будешь празден!*» Что же есть Мораль, из Наук важнейшая, Альфа и Омега всех Наук и всех Искусств? Не она ли доказывает

* Вот главная причина роскоши! Следственно, Науки, будучи врагами праздности, суть враги и сей самой роскоши, которая питается праздностью.

человеку, что он для собственного своего счастья должен быть добрым? Не она ли представляет ему необходимость и пользу гражданского порядка? Не она ли соглашает волю его с законами и делает его свободным в самых узах? Не она ли сообщает ему те правила, которые разрешают его недоумения во всяком затруднительном случае, и верною стезою ведет его к добродетели? — Все животные, кроме человека, подвержены уставу необходимости: для них нет выбора, нет ни добра, ни зла; но мы не имеем сего, так сказать, *деспотического чувства*, сего инстинкта, управляющего ими; вместо его дан человеку разум, который должен *искать* истины и добра. Зверь видит и действует; мы видим и рассуждаем, то есть сравниваем, разбираем и потом уже действуем.

«От чего же те люди, которые посвящают жизнь свою Наукам, не редко имеют порочные нравы?» — Конечно, не от того, что они в Науках упражняются; но совсем от других причин: наприм[ер], от худого воспитания, сего главного источника нравственных зол, и от худых навыков, глубоко вкоренившихся в их сердце. Любезныя Музы врачают всегда душевые болезни. Хотя и бывают такие злые недуги, которых не могут они излечить *совершенно*; но во всяком случае действия их благотворны — и человек, который, не взирая на нежный союз с ними, все еще предается порокам, во мраке невежества сделался бы, может быть, страшным чудовищем, извергом творения. Искусства и Науки, показывая нам красоты величественной Натуры, возвышают душу; делают ее чувствительнее и нежнее, обогащают сердце наслаждениями и возбуждают в нем любовь к порядку, любовь к гармонии, к добру, следственно, ненависть к беспорядку, разногласию и порокам, которые расстраивают прекрасную связь общежития. Кто чрез мириады блестящих сфер, кружящихся в голубом небесном пространстве, умеет возноситься духом своим к престолу невидимого Божества; кто внимает гласу Его и в громах и в зефирах, в шуме морей и — собственном сердце своем; кто в атоме видит мир и в мире атом беспредельного творения; кто в каждом цветочке, в каждом движении и действии Природы чувствует дыхание вышней Благости и в злых небесных молниях лобызает край Савафовой ризы: тот не может быть злодеем. На мраморных скрижалях Истории, между именами извергов, покажут ли нам имя Бакона, Декарта, Галлера, Томсона, Геснера?..²² Наблюдатель человечества! будь вторым Говардом и посети оные мрачные обители,

где ожесточенные преступники ждут себе праведного наказания²³, — сии несчастные, долженствующие кровию своею примириться с раздраженными законами; спроси — если не онемеют уста твои в сем жилище страха и ужаса, — спроси, кто они? И ты узнаешь, что просвещение не было никогда их долею и что благодетельные лучи Наук никогда не озаряли хладных и жестоких сердец их. Ах! тогда поверишь, что ночь и тьма есть жилище Грей, Горгон и Гарпий²⁴; что все изящное, все доброе любит свет и солнце.

Так! просвещение есть Палладиум²⁵ благонравия — и когда вы, вы, которым вышняя Власть поручила судьбу человеков, желаете распространить на земле область добродетели, то любите Науки и не думайте, чтобы они могли быть вредны; чтобы какое-нибудь состояние в гражданском обществе должноствовало пресмыкаться в грубом невежестве — нет! сие золотое солнце сияет для всех на голубом своде, и все живущее согревается его лучами; сей текущий кристалл утоляет жажду и властелина и невольника; сей столетний дуб обширною своею тению прохлаждает и пастуха и Героя. Все люди имеют душу, имеют сердце: следственно, все могут наслаждаться плодами Искусства и Науки* — и кто наслаждается оными, тот делается лучшим человеком и спокойнейшим гражданином — спокойнейшим, говорю: ибо, находя везде и во всем тысячу удовольствий и приятностей, не имеет он причины роптать на Судьбу и жаловаться на свою участь. — Цветы Граций украшают всякое состояние — просвещенный землемеделец, сидя после трудов и работы на мягкой зелени с нежною своею подругою, не позавидует счастию роскошнейшего Сатрапа.

Просвещенный землемеделец! — Я слышу тысячу возражений, но не слышу ни одного справедливого. Быть просвещенным есть быть здравомыслящим, не ученым, не полиглотом, не педантом. Можно судить справедливо и по правилам строжайшей Логики, не читав никогда схоластических бредней о сей Науке; не думая о том, кто лучше определяет ее: Томазий или Тширнгауз, Меланхтон или Рамус, Клерикус или Буддеус²⁶; не зная, что такое *энфимемата, барбара, целарент, ферио*²⁷ и проч. Для сего, конечно, недостает

* Вот мысль великой нашей Монархини, которая учреждением Народных Училищ открыла всем своим подданным путь к просвещению.

земледельцу времени — ибо он должен обрабатывать поля свои; но для того, чтобы мыслить здраво, нужно только впечатлеть в душу некоторые правила, некоторые вечные истины, испытанные и утвержденные веками, истины, которые составляют основание и существо Логики, — для сего же найдет он в жизни своей довольно свободных часов, равно как и для того, чтобы узнать премудрость, благость и красоту Натуры, которая всегда перед глазами его, — узнать, любить ее и быть счастливее.

Я поставлю в пример многих Швейцарских, Английских и Немецких поселян, которые пашут землю и собирают библиотеки; пашут землю и читают Гомера, и живут так чисто, так хорошо, что Музам и Грациям не стыдно посещать их. Кто не слыхал о славном Цирихском крестьянине Клейн-йоке, у которого Философы могли учиться Философии, с которым Бодмер, Геснер, Лафатер²⁸ любили говорить о красотах Природы, о величестве Творца ее, о сане и должностях человека? — Недалеко от Мангейма живет и теперь такой поселянин, который читал всех лучших Немецких и даже иностранных Авторов и сам пишет прекрасные стихи*. Сии упражнения не мешают ему быть трудолюбивейшим работником в своей деревне и прославлять долю свою. «Всякой день, — говорит он**, — благодарю я Бога за то, что Он определил мне быть поселянином, которого состояние есть самое ближайшее к Натуре, и следственно, самое счастливейшее».

Законодатель и друг человечества! Ты хочешь общественного блага: да будет же первым законом твоим *просвещение!* Гласом оного благотворного грома, который не умерщвляет живущего, а напаляет землю и воздух питательными и плодотворными силами, верай человекам: *созерцайте Природу и наслаждайтесь ее красотами: познавайте свое сердце, свою душу; действуйте всеми силами, Творческою рукою вам данными, — и вы будете любезнейшими чадами Неба!*

Когда свет учения, свет истины озарит всю землю и проникнет в самые темнейшие пещеры невежества: тогда, может быть, исчезнут все нравственные Гарпии, доселе осквернявшие человечество, — исчезнут, подобно как привидения ночи на рассвете дня исчезают: тогда, может быть, настанет златый век Поэтов, век благонравия — и там, где

* Многие из них читал я в Немецком Музеуме.

** Один из моих знакомых был у него в гостях.

возвышаются теперь кровавые эшафоты, там сядет добродетель на светлом троне.

Между тем вы составляете мое утешение, вы нежные чада ума, чувства и воображения! С вами я богат без богатства, с вами я не один в уединении, с вами не знаю ни скуки, ни тяжкой праздности. Хотя живу на краю севера, в отечестве грозных Аквилонов, но с вами, любезные Музы! с вами везде долина Темпейская²⁹ — коснется рукою, и печальная сосна в лавр Аполлонов превращается; дохнете божественными устами, и на желтых хладных песках цветы Олимпийские расцветают. Осыпанный вашими благами, дерзаю презирать блеск тщеславия и суетности. Вы и Природа, Природа и любовь добрых душ — вот мое счастье, моя отрада в горестях!. Ах! я иногда проливаю слезы, и не стыжусь их!

Меня не будет — но память моя не совсем охлаждает в мире; любезный, нежно-образованный юноша, читая некоторые мысли, некоторые чувства мои, скажет: «он имел душу, имел сердце!»

